

**ЛИСЫ
ГРАФСТВА РЭНДАЛЛ**

Лисы графства Рэндалл

Тимьян и Клевер

Трое для одного

Забери меня отсюда

СОФЬЯ
РОЛДУГИНА



ЛИСЫ ГРАФСТВА

РЭНДАЛЛ


ЧЕРНЫМ
БЕЛО
МОСКВА

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Р67

Ролдугина, Софья Валерьевна.

Р67 Лисы графства Рэндалл / Софья Ролдугина. —
Москва : Эксмо, 2024. — 352 с.

ISBN 978-5-04-203578-4

Волшебный народ издавна обитал рядом с людьми. Всюду — от чинных, тихих английских городков — до диких восточных степей. Всегда — и в незапамятной древности, когда по небу летали только птицы и колдуны, и позже, когда поднялись к облакам дирижабли, задышали паром и дымом быстрые поезда...

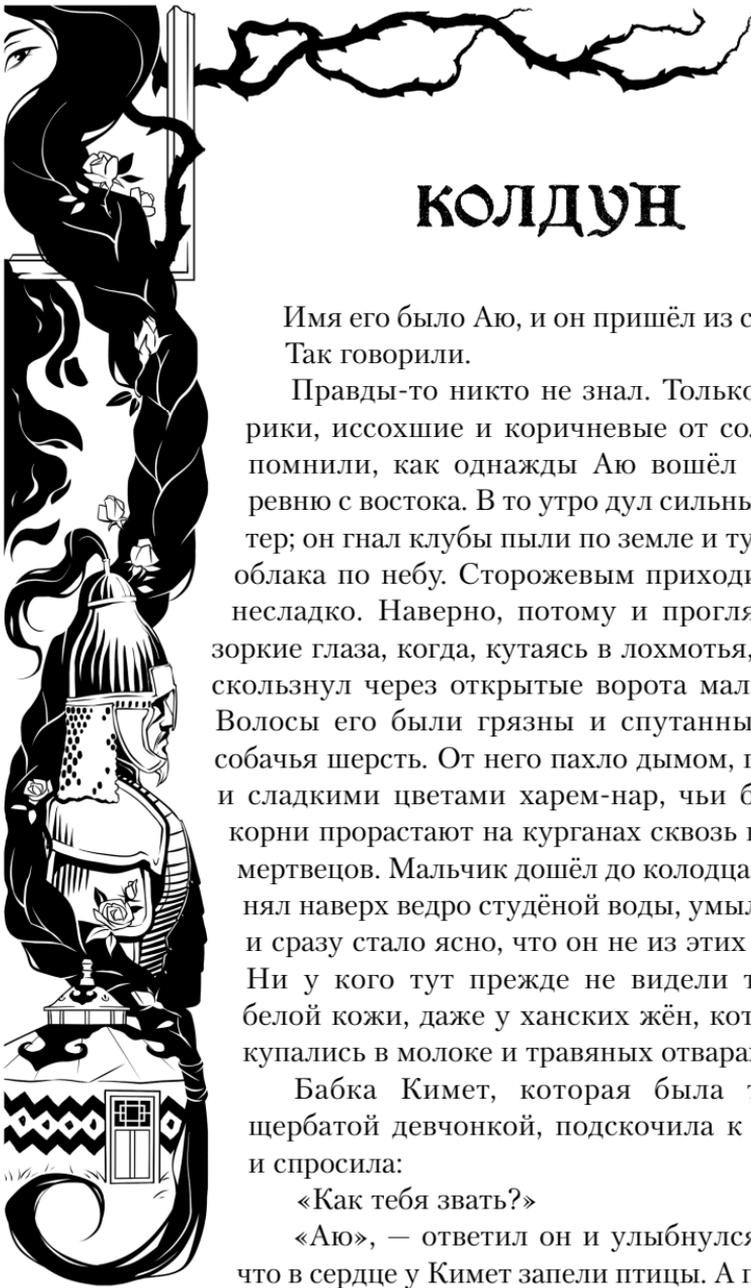
Всегда и всюду — пока не пришла Война Железа, которая загнала народ фейри и вообще всякое волшебство в буквальном смысле под землю.

Именно о событиях, которые предшествовали Войне, о том, как фейри вернулись в мир, а также о том, какое отношение ко всему произошедшему имеют лисы графства Рэндалл, и повествует эта книга.

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Ролдугина С., текст, 2024
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2024

ISBN 978-5-04-203578-4



КОЛДУН

Имя его было Аю, и он пришёл из степи. Так говорили.

Правды-то никто не знал. Только старики, иссохшие и коричневые от солнца, помнили, как однажды Аю вошёл в деревню с востока. В то утро дул сильный ветер; он гнал клубы пыли по земле и тучные облака по небу. Сторожевым приходилось несладко. Наверно, потому и проглядели зоркие глаза, когда, кутаясь в лохмотья, проскользнул через открытые ворота мальчик. Волосы его были грязны и спутанны, как собачья шерсть. От него пахло дымом, гарью и сладкими цветами харем-нар, чьи белые корни прорастают на курганах сквозь кости мертвецов. Мальчик дошёл до колодца, поднял наверх ведро студёной воды, умылся — и сразу стало ясно, что он не из этих мест. Ни у кого тут прежде не видели такой белой кожи, даже у ханских жён, которые купались в молоке и травяных отварах.

Бабка Кимет, которая была тогда щербатой девчонкой, подскочила к нему и спросила:

«Как тебя звать?»

«Аю», — ответил он и улыбнулся так, что в сердце у Кимет запели птицы. А потом

стёр воду с лица и пошёл на окраину деревни, где стояли пустые, брошенные дома. Выбрал тот, что поцелее, и поселился в нём, не спросив ни у кого разрешения. Старейшина сходил поговорить с пришлецом и решил, что он родом из дальней деревни, сожжённой кочевниками. Степные законы святы — погорельца выгонять нельзя.

Так Аю стал жить один, ни с кем не заводя дружбы. Только босоногие девчонки прибегали к нему позубоскалить и спеть песенку под окном.

С тех пор прошло сорок лет. Кимет состарилась, и зубы у неё выпали совсем; старого хана, по обычаю, убил младший внук и в тот же год завёл первую жену; трижды кочевники прокатывались по степи огненной волной, стаптывая высокие травы до самой земли.

Но если прочих-то время клювом исклевало, когтями истерзало, то Аю оно лишь крылом коснулось. Был мальчишка — стал мужчина. Высокий, только в кости по-прежнему тонкий — не то что приземистые, широкоплечие степняки. Белые пальцы его были слишком нежны для работы; Аю не растил ни коз, ни коней, не пряд шерсть, не шил ни рубахи, ни сапоги, не нанимался в подмастерья ни к кузнецу, ни к гончару, ни к кожевнику. Но каждый раз, когда луна отъедалась на небесных пастбищах, когда округлялись её бока, он уходил в степь на три дня и возвращался с полным заплечным мешком трав.

И не было в деревне хоть одного человека, который бы никогда не менял на пороге дома Аю хорошую рубашку, пару сапог, кувшин молока или полоску вяленого мяса на целебный отвар, или на пахучую мазь на козьем жиру, или на ароматную травяную косицу, что жгут в доме от всякой кусачей твари, которая заводится в шкурах и не дает покоя ни ребёнку, ни старику.

Волосы у Аю были длинные, как у ханских жён, но те прятали их под платками и накидками, а он — перепле-



тал с ядовитыми травами, с бледными степными розами, с белыми косточками на длинных нитках и бусинами из прозрачного небесного камня.

На руках у Аю были браслеты, и шнурки, и тонкие косицы из трав.

Аю называли колдуном и принимали его как горькое лекарство — морщась, но зная, что оно несёт избавление от беды.

Так было до тех пор, пока однажды, в предзимье, молодого хана не настигла острая стрела и он не повелел раскинуть шатры у стен деревни.

Всем в степи известно, что нет никого на свете изнеженней ханских жён, потому что у них одна забота — лелеять свою красоту. А это непросто. Многое нужно делать: купаться в молочной воде, растирать кожу душистыми маслами, танцевать, чтобы тело было стройным и сильным, облачаться в цветные шелка... Жёны следуют повсюду за своим господином, и лишь когда он болен или умирает, удаляются прочь, чтобы не отпугивать ревнивую удачу; она ведь тоже женщина, соперниц не терпит.

Потому и остался молодой хан на попечении лекарей в расшитом обережными знаками шатре, а жён его отвезли в деревню; старейшина с семьёю своей рад был уступить красавицам свой дом, и радость эту всячески укрепляли воины из ханской свиты, с острыми копьями и луками из дерева ти; при одном взгляде на них просыпался в любом человеке дух гостеприимства и невиданной щедрости.

Жёны были красивы. Первая, старшая, — как ночь, ясноглазая, черноволосая, в покрывалах из тёмного шёлка. Вторая — как огонь, меднокожая, грациозная, гибкая. Третья, самая младшая, — как степная кошка, томная, хитрая, с шагом беззвучным и торопливым.



Но прекрасней всех была та, что походила на нежный цветок иссы, — белокожая, с волосами цвета мёда и глазами как ночное небо. Прислужницы, что стирали у ручья шёлковые драгоценные покрывала, говорили, что младшая жена родом с севера, из тех краёв, где лёд сходит с земли только летом; что была она дочерью одного правителя и ушла в степь с ханом в залог долгого мира — не стал бы хан войной идти на отца своей жены.

А звали её Сёйне.

Прочие жёны никогда не покидали дом, и только иногда слышался их смех или песни у открытого окна. Но другой была Сёйне. Она поднималась ещё на рассвете и шла через всю деревню, к воротам, и дальше, в степь, к холму или к ручью. А за нею неизменно следовали две немые женщины, несущие белый холст, кисти из жёлтой кости и драгоценного меха, деревянную раму и короб, в котором звенели сосуды с иноземной краской. Когда Сёйне находила то, что услаждало её взор изысканной красотой, то велела прислужницам остановиться, а затем натягивала холст на раму, открывала сосуды с красками и рисовала — день, два, три, четыре и так, пока не бывала закончена картина. А порою Сёйне не прикасалась ни к кистям, ни к холсту, а лишь смотрела на непостоянную красоту, словно желала, чтобы та навеки осталась в её глазах и сердце. И чем ближе была зима, тем чаще замирала белокожая северянка, глядя в серое небо или на тонкий ледок на влажной земле.

Служанка жаловалась, что светлая госпожа её грустит и не могут развеять печаль ни сухие фрукты в меду, ни песни, ни даже пляски. А хан всё ещё не излечился, и лекари говорили, что, наверное, свернуть шатры и отправиться в путь он сможет, лишь когда степь зацветёт по весне.

Однажды Сёйне сидела у ручья, смотрела, как быстро бежит вода, и думала: «Верно, и время бежит так же.



Зачем я покинула свой дом? Там знали меня, почитали мои картины и каждый взгляд ловили. А здесь я одна из четырёх жён, и даже хан краски и холст почитает за дурную блажь, а едва я скажу слово поперёк — грозитя войной с отцом моим».

А потом кто-то сказал ей:

«Не плачь».

Сёйне подняла взгляд и увидела прекрасного юношу. То был Аю. В волосах его, перевитых с травами, цвели бледные розы, черны были глаза его, а кожа — бела, как снег, по которому истосковалось жаркое сердце Сёйне. И так захотелось ей продлить этот миг, что не спросила она гневно: «Кто ты?», не позвала служанок, а сказала:

«Кто бы ты ни был, позволь нарисовать себя».

Аю улыбнулся и пообещал прийти назавтра, а потом добавил:

«Только если ты не будешь больше плакать, царевна».

Сказал — и ушёл, неслышно, как вечерняя заря. А за ним стелился запах грозы, дыма и цветов харем-нар, чьи корни оплетают кости мертвецов.

Всю ночь думала Сёйне о незнакомце, всю ночь не спала. Сердце её стало гулким барабаном, и удивлялась Сёйне, отчего никто не слышит этого звука, отчего никто не спрашивает, что с нею случилось. А когда наступило утро, она позвала служанок и велела им принести ароматные масла для тела и костяные гребни, привезённые с севера. Удивлённо переглянулись прочие жёны; никогда прежде Сёйне не украшала себя, если не было хана рядом; а потом решили, что глупая северянка задумала тайком пробраться к нему, обманув лекарей, и на том успокоились.

Сёйне же поспешила к ручью, и немые служанки несли за нею холсты и краски. Она боялась, что Аю не придёт вовсе, но ещё издали увидела — он её ждёт.



В тот день Сёйне не отважилась произнести рядом с ним ни единого слова. Только макала тонкую кисть в краску и подносила к холсту, не отводя взгляда от прекрасного лица. Аю улыбался и оставался недвижим, как мертвец, и прекрасен, как сон перед рассветом. Когда Сёйне смотрела на него, ей казалось, что она пробуждается, словно цветок соль, что первым распускается весной и наполняет северные леса запахом пьяным, медовым.

Аю пришёл и на следующий день, и на следующий тоже. Сёйне осмелела и стала задавать вопросы. Но не затем, чтобы узнать ответы, а лишь для того, чтобы послушать его голос.

А немые служанки — наоборот, запоминали всё накрепко.

«Правда ли, что ты колдун?»

«Правда».

«Из этих ли ты мест? Другие люди на тебя не похожи...»

«Нет, не из этих».

«А хочешь ли вернуться домой?»

«Нельзя желать того, что невозможно исполнить».

Услышав это, Сёйне хотела посетовать, что желает невозможного, но не успела. Аю улыбнулся и произнёс:

«Не бойся. Ты не из тех, чьим желаниям не суждено сбыться. Твои дороги всё ещё открыты. — И добавил: — А теперь я пойду. Старая Кимет просила сладкий отвар от дурных снов, а взамен обещала починить мои сапоги».

После этого разговора Сёйне боялась, что колдун больше не придёт, но он вернулся. И потому весь следующий день она не спрашивала важных вещей, только глупости:

«Когда ты влетаешь в косы свои дикие розы, не колют ли острые шипы твои руки?»



«Нет. С розами у меня уговор. Они цветут в моих волосах и не жалят меня, а я продлеваю им жизнь до весны».

«А что это за синий стебелёк в твоей косе?»

«Это жар-трава. Из неё делают самый сильный яд в степи. Он в тысячу раз сильнее, чем у степной змеи».

«Если так, то сам ты не боишься умереть от яда?»

«Не боюсь, — улыбался Аю. — Чтобы трава эта стала ядовитой, нужно раскусить стебелёк и до трёх сосчитать. Тогда человек заснёт и не проснётся больше».

Вспомнила тут Сёйне, что с весною свернут ханские слуги шатры и двинется дальше вечное кочевье, и опечалилась.

«Подари мне один стебелёк этой травы», — попросила она Аю, а тот засмеялся:

«Спой для меня, царевна, тогда подарю».

И стало вдруг Сёйне так легко-легко, словно снова она очутилась в заснеженном своём тереме, и не было у неё тяжёлых шёлковых покрывал, расшитых драгоценным бисером, и грелись собаки у очага, и звенели медные струны айны. Полилась песня севера над бескрайней степью — сильная, чистая, славящая битвы и смерть в бою.

И где-то далеко-далеко вздрогнул отец Сёйне — защемило вдруг сердце.

С тех пор день ото дня расцветала северянка. А на белом холсте, как изморозь на окне, проступали черты Аю. Жёны, давно прознавшие, зачем ходит Сёйне к берегу ручья, сердились на неё — мол, позорит она хана, но ничего поделать не могли. А потом младшая из них, та, что нравом была похожа на степную кошку, пробралась ночью к шатру хана, обошла лекарей и шепнула мужу на ухо:

«Похитил колдун сердце твоей северянки».



И хотела уже сбежать так же тихо, как и пришла, но тут схватил её хан за рукав:

«Расскажи больше. Что за колдун?»

А та и рада наушничать.

«Говорят, что глаза его темнее ночи; говорят, что кожа его белее молока; говорят, что степные розы цветут в его волосах, а всякий, кто взглянет на него, — потеряет покой».

И, хотя была на дворе густая, как вязкое масло, ночь, в тот же миг повелел хан привести к нему Сёйне. Разбудили её слуги без жалости и, босую, простоволосую, повели к шатрам — даже покрывала на голову накинуть не позволили. Услышала Сёйне обвинения и улыбнулась:

«Сам ты, господин, горе выдумал, сам же его и испугался. Верна тебе была и впредь буду».

«Почему же ты тогда всякий день к нему спешишь, как и к любимому мужу не спешила?» — хан брови нахмурил, а младшая жена, та, что от кошек степных лукавства зачерпнула, из-за плеча его выглядывает, улыбается довольно. Всё ей ссоры в радость. Чем больше шуму — тем лучше.

«Потому хожу, что портрет его пишу. Тонкой кистью, на белом холсте, драгоценными красками... А как завершу работу свою, то даже ты увидишь, что не простой я откуп от войны, что у меня душа и дар есть, а не только белая кожа и медовые волосы».

Тут хан засмеялся, как смеётся седая гора, обрушивая лавину на беспечного путника:

«Зачем жене дар, зачем душа? Нет, полно меня позорить. Завтра велю разложить костер высокий. Колдун не колдун, а от огня никто не уберезётся».

Сказал так хан, хлопнул в ладоши, призвал слуг и воинов. Сёйне он повелел запереть в доме и не пускать никуда, а ещё — снести весь хворост к ручью и маслом пропитать. И, прогнав лекарей прочь, поднялся хан с ложа, надел стёганый доспех и сам во главе воинов пошёл за колдуном. Даже о ранах своих позабыл.



Ждал его Аю на пороге своего дома, будто заранее знал обо всём — знал и встретил смехом:

«Вижу, ревность тебя отравила, молодой хан! Хочешь, приготовлю тебе лекарство? Всего-то нужно выпить залпом кувшин кислого молока да закусить солёными грибами — и точно тебе не до пустой ревности будет».

Разозлился хан:

«Что за лекарство? Вот увижу я, как звери твои кости растащат, — это меня точно излечит!»

«А это, — отвечал Аю, — вряд ли. Против меня ни один зверь не пойдёт».

И долго они ещё так спорили, да надоело младшей жене ждать. Тайком пробежала она в середину деревни, к колодцу, сорвала с головы своей покрывало, растрепала волосы и стала громко плакать и причитать:

«Ой, горе, горе этой деревне и людям её! Навлѣк на них беду колдун Аю! Хотел он хана великого проклясть, со свету сжить — да не вышло! И теперь гневается хан, грозитя деревню дотла сжечь, если не отдадут ему колдуна злокозненного! Ой, горе, горе!»

Заслышав этот плач, люди стали выходить из домов и оглядываться испуганно. А кое-кто тут же и припомнил, что-де глаз у Аю нехороший, что не стареет Аю уже много лет, что пропадает куда-то в полнолуние... И стали роптать люди:

«Зачем нам такой колдун? Раньше без него жили — и горя не нажили, а с ним и горе тут как тут, на пороге стоит — открывай, мол, хозяин!»

Сбились в стаю — куда там степным собакам! — и пошли к дому Аю. Смотрят — а хан-то уже от злости побагровел, кулаками потрясает, а слова уже сказать не может. Аю же как стоял на пороге, так и стоит — зубокалит только.

...Так и не вспомнили потом, кто первым камень бросил. Но где один, там и второй, где второй, там и третий...



Будто в дурмане это было. Лишь тогда опомнились люди, когда заголосила старуха Кимет:

«Птицы замолчали, птицы замолчали! Что же вы делаете-то? Птицы замолчали...»

И заплакала.

И глупый был это крик, но страшно сделалось всем. Даже хану; только он-то страха показать не мог — нахмурился, рукою махнул:

«На костёр его, жечь!»

Будто и не боялся ничего.

Тронули воины слуг легонько копьями — не до крови, а так, подбодряя, смелость внушая. Разок-другой без толку, а на третий зашевелились слуги, поплелись к колдуну, что лежал окровавленный у порога своего дома, подхватили его за руки, за ноги — и потащили к ручью, где сложена была высокая куча хвороста. Раскачали-раскачали — и закинули на самый верх.

Увидела это младшая жена и побежала к дому, где заперли северянку. Смеётся под окном, заливается:

«А колдуна-то твоего жечь собираются! Не ходить тебе с ним больше к ручью, не позорить хана! Станешь ты опять примерной женой, будешь нас слушаться, нас рисовать тонкой кистью на белом холсте!»

Услышала эти речи Сёйне — забилась, как птица в клетке, что грудью бросается на прутья, пусть и не может их сломать. А младшая жена всё не унимается:

«Чуешь, дымом понесло? Это костёр разгорелся!»

«Слышишь, люди поют? Это радуются они, что колдун погибает».

«Слышишь крик? Это он, он, Аю твой кричит!»

И правда — замерла Сёйне, и знакомый голос коснулся её ушей. Искажён был он от боли, но всё так же чист и звонок. От горя еле живая, выдернула Сёйне из-за пояса синюю травинку, прикусила её — и упала замертво.



Костёр догорел, и пепел по ветру развеяли. А хан, довольный, возвратился в свой шатёр. Младшую жену он позвал к себе и наградил её кольцами, серьгами и звонкими браслетами.

А потом узнал, что Сёйне с той самой ночи так и не очнулась, — и испугался. Сразу вспомнилось ему, как красива была северянка — белокожая, златовласая, с глазами будто ясное небо. И созвал хан всех лекарей, каких мог найти, но никто так и не сумел её исцелить. Тогда старшая жена, что была мудрее всех, посоветовала ему клич кинуть — мол, кто вылечит северянку, тому достанутся несметные сокровища. А какие — не говорить; любопытство лучший погонщик, чем алчность.

Так хан и сделал.

И потекли к нему рекою лекари, и чудотворцы, и лгуны простые, и от всех было одинаково мало проку. А потом пришёл к шатру его сгорбленный старик в гнилых лохмотьях, от которого пахло дымом и красными цветами харем-нар, что только на курганах растут.

Стал хан, как и прежним соискателям, обещать ему чудесные сокровища, но старик поднял сморщенную руку и сказал хриплым голосом:

«Не надо мне богатств. А отдай мне то, что для твоей жены дороже жизни оказалось».

Побледнел хан, вспомнив колдуна.

«Нет такого сокровища у меня».

«Ну, что ж, — произнёс старик и на ноги поднялся. — Тогда я пойду».

«Постой, — испугался хан. — Солгал я. Осталась одна вещь от того, кто для Сёйне дороже жизни стал. Портрет, нарисованный тонкой кистью на белом холсте. На нём колдун как живой».

Обрадовался старик:

«О, мне это подойдёт. Вели принести портрет в шатёр к жене твоей. Я же войду в тот шатёр с закатом. И пусть

